

Литрес ≡ Классика

Леонид Андреев

РАССКАЗ О
СЕМИ ПОВЕШЕННЫХ



Леонид Андреев

Рассказ о семи повешенных

«ЛитРес»

1908

Андреев Л. Н.

Рассказ о семи повешенных / Л. Н. Андреев — «ЛитРес», 1908

Сюжет произведения разворачивается вокруг пяти молодых революционеров-террористов и двух уголовных преступников, приговоренных к смертной казни через повешение. Автор глубоко проникает в психологию приговоренных, показывая, как каждый из них переживает последние дни и часы перед неизбежным концом. Это пронзительное исследование человеческой души перед лицом небытия, где обнажаются истинные страхи, мужество, раскаяние и непреодолимое желание жить.

© Андреев Л. Н., 1908

© ЛитРес, 1908

Содержание

1. В час дня, ваше превосходительство	5
2. К смертной казни через повешение	9
3. Меня не надо вешать	12
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Леонид Андреев

Рассказ о семи повешенных¹

1. В час дня, ваше превосходительство



Так как министр был человек очень тучный, склонный к апоплексии, то со всякими предосторожностями, избегая вызвать опасного волнения, его предупредили, что на него готовится очень серьезное покушение. Видя, что министр встретил известие спокойно и даже с улыбкой, сообщили и подробности: покушение должно состояться на следующий день, утром, когда он выедет с докладом; несколько человек террористов, уже выданных провокатором и теперь находящихся под неусыпным наблюдением сыщиков, должны с бомбами и револьверами собраться в час дня у подъезда и ждать его выхода. Здесь их и схватят.

– Постойте, – удивился министр, – откуда же они знают, что я поеду в час дня с докладом, когда я сам узнал об этом только третьего дня?

Начальник охраны неопределенно развел руками:

– Именно в час дня, ваше превосходительство.

Не то удивляясь, не то одобряя действия полиции, которая устроила все так хорошо, министр покачал головою и хмуро улыбнулся толстыми темными губами; и с тою же улыбкой, покорно, не желая и в дальнейшем мешать полиции, быстро собрался и уехал ночевать в чей-то чужой гостеприимный дворец. Также увезены были из опасного дома, около которого соберутся завтра бомбометатели, его жена и двое детей.

Пока горели огни в чужом дворце и приветливые знакомые лица кланялись, улыбались и негодовали, сановник испытывал чувство приятной возбужденности – как будто ему уже дали или сейчас дадут большую и неожиданную награду. Но люди разъехались, огни погасли, и сквозь зеркальные стекла на потолок и стены лег кружевной и призрачный свет электрических фонарей; посторонний дому, с его картинами, статуями и тишиной, входившей с улицы, сам тихий и неопределенный, он будил тревожную мысль о тщете запоров, охраны и стен. И тогда ночью, в тишине и одиночестве чужой спальни, сановнику стало невыносимо страшно.

У него было что-то с почками, и при каждом сильном волнении наливались водою и опухали его лицо, ноги и руки, и от этого он становился как будто еще крупнее, еще толще и массивнее. И теперь, горою вздутого мяса возвышаясь над придавленными пружинами кровати, он с тоскою больного человека чувствовал свое опухшее, словно чужое лицо и неотвязно думал о той жестокой судьбе, какую готовили ему люди. Он вспомнил, один за другим, все недавние ужасные случаи, когда в людей его сановного и даже еще более высокого положения бросали бомбы, и бомбы рвали на клочки тело, разбрызгивали мозг по грязным кирпичным стенам, вышибали зубы из гнезд. И от этих воспоминаний собственное тучное больное тело, раскинувшееся на кровати, казалось уже чужим, уже испытывающим огненную силу взрыва; и чудилось, будто руки в плече отделяются от туловища, зубы выпадают, мозг разделяется на частицы, ноги немеют и лежат покорно, пальцами вверх, как у покойника. Он усиленно шевелился, дышал громко, кашлял, чтобы ничем не походить на покойника, окружал себя живым шумом звенящих пружин, шелестящего одеяла; и чтобы показать, что он совершенно жив, ни капельки не умер и далек от смерти, как всякий другой человек, – громко и отрывисто басил в тишине и одиночестве спальни:

– Молодцы! Молодцы! Молодцы!

Это он хвалил сыщиков, полицию и солдат, всех тех, кто охраняет его жизнь и так своевременно, так ловко предупредили убийство. Но шевелясь, но хваля, но усмехаясь насильственной кривой улыбкой, чтобы выразить свою насмешку над глупыми террористами-неудачниками, он все еще не верил в свое спасение, в то, что жизнь вдруг, сразу, не уйдет от него. Смерть, которую замыслили для него люди и которая была только в их мыслях, в их намерениях, как будто уже стояла тут, и будет стоять, и не уйдет, пока тех не схватят, не отнимут у них бомб и не посадят их в крепкую тюрьму. Вон в том углу она стоит и не уходит – не может уйти, как послушный солдат, чьей-то волею и приказом поставленный на караул.

– В час дня, ваше превосходительство! – звучала сказанная фраза, переливалась на все голоса: то весело-насмешливая, то сердитая, то упрямая и тупая. Словно поставили в спальню сотню заведенных граммофонов, и все они, один за другим, с идиотской старательностью машины выкрикивали приказанные им слова:

– В час дня, ваше превосходительство.

И этот «завтрашний час дня», который еще так недавно ничем не отличался от других, был только спокойным движением стрелки по циферблату золотых часов, вдруг приобрел зловещную убедительность, выскочил из циферблата, стал жить отдельно, вытянулся, как огромный черный столб, всю жизнь разрезающий надвое. Как будто ни до него, ни после него не существовало никаких других часов, а он только один, наглый и самомнительный, имел право на какое-то особенное существование.

– Ну? Чего тебе надо? – сквозь зубы, сердито спросил министр.

Орали граммофоны:

– В час дня, ваше превосходительство! – И черный столб ухмылялся и кланялся.

Скрипнув зубами, министр приподнялся на постели и сел, опершись лицом на ладони, – положительно он не мог заснуть в эту отвратительную ночь.

И с ужасающей яркостью, зажимая лицо пухлыми надушенными ладонями, он представил себе, как завтра утром он вставал бы, ничего не зная, потом пил бы кофе, ничего не зная, потом одевался бы в прихожей. И ни он, ни швейцар, подававший шубу, ни лакей, приносивший кофе, не знали бы, что совершенно бессмысленно пить кофе, надевать шубу, когда через несколько мгновений все это: и шуба, и его тело, и кофе, которое в нем, будет уничтожено взрывом, взято смертью. Вот швейцар открывает стеклянную дверь... И это он, милый, добрый, ласковый швейцар, у которого голубые солдатские глаза и ордена во всю грудь, сам, своими руками открывает страшную дверь, – открывает, потому что не знает ничего. Все улыбаются, потому что ничего не знают.

– Ого! – вдруг громко сказал он и медленно отвел от лица ладони.

И, глядя в темноту, далеко перед собою, остановившимся, напряженным взглядом, так же медленно протянул руку, нащупал рожок и зажег свет. Потом встал и, не надевая туфель, босыми ногами по ковру обошел чужую незнакомую спальню, нашел еще рожок от стенной лампы и зажег. Стало светло и приятно, и только взбудораженная постель со свалившимся на пол одеялом говорила о каком-то не совсем еще прошедшем ужасе.

В ночном белье, с взлохматившейся от беспокойных движений бородою, с сердитыми глазами, сановник был похож на всякого другого сердитого старика, у которого бессонница и тяжелая одышка. Точно оголила его смерть, которую готовили для него люди, оторвала от пышности и внушительного великолепия, которые его окружали, – и трудно было поверить, что это у него так много власти, что это его тело, такое обыкновенное, простое человеческое тело, должно было погибнуть страшно, в огне и грохоте чудовищного взрыва. Не одеваясь и не чувствуя холода, он сел в первое попавшееся кресло, подпер рукою взлохмаченную бороду и сосредоточенно, в глубокой и спокойной задумчивости, уставился глазами в лепной незнакомый потолок.

Так вот в чем дело! Так вот почему он так струсил и так взволновался! Так вот почему она стоит в углу и не уходит и не может уйти!

– Дураки! – сказал он презрительно и веско.

– Дураки! – повторил он громче и слегка повернул голову к двери, чтобы слышали те, к кому это относится. А относилось это к тем, кого недавно он называл молодцами и кто в излишке усердия подробно рассказал ему о готовящемся покушении.

«Ну, конечно, – думал он глубоко, внезапно окрепшею и плавною мыслью, – ведь это теперь, когда мне рассказали, я знаю и мне страшно, а ведь тогда бы я ничего не знал и спокойно пил бы кофе. Ну, а потом, конечно, эта смерть, – но разве я так боюсь смерти? Вот у меня болят почки, и умру же я когда-нибудь, а мне не страшно, потому что ничего не знаю. А эти дураки сказали: в час дня, ваше превосходительство. И думали, дураки, что я буду радоваться, а вместо того она стала в углу и не уходит. Не уходит, потому что это моя мысль. И не смерть страшна, а знание ее; и было бы совсем невозможно жить, если бы человек мог вполне точно и определенно знать день и час, когда умрет. А эти дураки предупреждают: “В час дня, ваше превосходительство!”»

Стало так легко и приятно, словно кто-то сказал ему, что он совсем бессмертен и не умрет никогда. И, снова чувствуя себя сильным и умным среди этого стада дураков, что так бессмысленно и нагло врываются в тайну грядущего, он задумался о блаженстве неведения тяжелыми мыслями старого, больного, много испытывавшего человека. Ничему живому, ни человеку, ни зверю, не дано знать дня и часа своей смерти. Вот он был болен недавно, и врачи сказали ему, что умрет, что нужно сделать последние распоряжения, – а он не поверил им и действительно остался жив. А в молодости было так: запутался он в жизни и решил покончить

с собой; и револьвер приготовил, и письма написал, и даже назначил час дня самоубийства, – а перед самым концом вдруг передумал. И всегда, в самое последнее мгновение может что-нибудь измениться, может явиться неожиданная случайность, и оттого никто не может про себя сказать, когда он умрет.

«В час дня, ваше превосходительство», – сказали ему эти любезные ослы, и, хотя сказали только потому, что смерть предотвращена, одно уже знание ее возможного часа наполнило его ужасом. Вполне допустимо, что когда-нибудь его и убьют, но завтра этого не будет – завтра этого не будет, – и он может спать спокойно, как бессмертный. Дураки, они не знали, какой великий закон они свернули с места, какую дыру открыли, когда сказали с этой своею идиотской любезностью: «В час дня, ваше превосходительство».

– Нет, не в час дня, ваше превосходительство, а неизвестно когда. Неизвестно когда. Что?

– Ничего, – ответила тишина. – Ничего.

– Нет, ты говоришь что-то.

– Ничего, пустяки. Я говорю: завтра, в час дня.

И с внезапной острой тоскою в сердце он понял, что не будет ему ни сна, ни покоя, ни радости, пока не пройдет этот проклятый, черный, выхваченный из циферблата час. Только тень знания о том, о чем не должно знать ни одно живое существо, стояла там в углу, и ее было достаточно, чтобы затмить свет и нагнать на человека непроглядную тьму ужаса. Потревоженный однажды страх смерти расплывался по телу, внедрялся в кости, тянул бледную голову из каждой поры тела.

Уже не завтрашних убийц боялся он, – они исчезли, забылись, смешались с толпою враждебных лиц и явлений, окружающих его человеческую жизнь, – а чего-то внезапного и неизбежного: апоплексического удара, разрыва сердца, какой-то тоненькой глупой аорты, которая вдруг не выдержит напора крови и лопнет, как туго натянутая перчатка на пухлых пальцах.

И страшную казалась короткая, толстая шея, и невыносимо было смотреть на заплывшие короткие пальцы, чувствовать, как они коротки, как они полны смертельною влагой. И если раньше, в темноте, он должен был шевелиться, чтобы не походить на мертвеца, то теперь, в этом ярком, холодно-враждебном, страшном свете, казалось ужасным, невозможным пошевелиться, чтобы достать папиросу – позвонить кого-нибудь. Нервы напрягались. И каждый нерв казался похожим на вздыбившуюся выгнутую проволоку, на вершине которой маленькая головка с безумно вытаращенными от ужаса глазами, судорожно разинутым, задохнувшимся, безмолвным ртом. Нечем дышать.

И вдруг в темноте, среди пыли и паутины, где-то под потолком ожил электрический звонок. Маленький металлический язычок судорожно, в ужасе, бился о край звенящей чашки, замолкал – и снова трепетал в непрерывном ужасе и звоне. Это звонил из своей комнаты его превосходительство.

Забегали люди. Там и здесь, в люстрах и по стене, вспыхнули отдельные лампочки, – их мало было для света, но достаточно для того, чтобы появились тени. Всюду появились они: встали в углах, протянулись по потолку; трепетно цепляясь за каждое возвышение, прилегли к стенам; и трудно было понять, где находились раньше все эти бесчисленные уродливые, молчаливые тени, безгласные души безгласных вещей.

Что-то громко говорил густой дрожащий голос. Потом требовали доктора по телефону: сановнику было дурно. Вызвали и жену его превосходительства.

2. К смертной казни через повешение

Вышло так, как загадала полиция. Четверых террористов, трех мужчин и одну женщину, вооруженных бомбами, адскими машинами и револьверами, схватили у самого подъезда, пятаю – нашли и арестовали на конспиративной квартире, хозяйкою которой она состояла. Захватили при этом много динамиту, полуснаряженных бомб и оружия. Все арестованные были очень молоды: старшему из мужчин было двадцать восемь лет, младшей из женщин всего девятнадцать. Судили их в той же крепости, куда заключили после ареста, судили быстро и глухо, как делалось в то беспощадное время.

На суде все пятеро были спокойны, но очень серьезны и очень задумчивы: так велико было их презрение к судьям, что никому не хотелось лишней улыбкой или притворным выражением веселья подчеркнуть свою смелость. Ровно настолько были они спокойны, сколько нужно для того, чтобы оградить свою душу и великий предсмертный мрак ее от чужого, злого и враждебного взгляда. Иногда отказывались отвечать на вопросы, иногда отвечали – коротко, просто и точно, словно не судьям, а статистикам отвечали они для заполнения каких-то особенных таблиц. Трое, одна женщина и двое мужчин, назвали свои настоящие имена, двое отказались назвать их и так и остались для судей неизвестными. И ко всему, происходившему на суде, обнаруживали они то смягченное, сквозь дымку, любопытство, которое свойственно людям или очень тяжело больным, или же захваченным одною огромною, всепоглощающей мыслью. Быстро взглядывали, ловили на лету какое-нибудь слово, более интересное, чем другие, – и снова продолжали думать, с того же места, на каком остановилась мысли.

Первым от судей помещался один из назвавших себя – Сергей Головин, сын отставного полковника, сам бывший офицер. Это был совсем еще молодой, белокурый, широкоплечий юноша, такой здоровый, что ни тюрьма, ни ожидание неминуемой смерти не могли стереть краски с его щек и выражения молодой, счастливой наивности с его голубых глаз. Все время он энергично пощипывал лохматую светлую бородку, к которой еще не привык, и неотступно, щурясь и мигая, глядел в окно.

Это происходило в конце зимы, когда среди снежных бурь и тусклых морозных дней недалекая весна посылала, как предтечу, ясный, теплый солнечный день или даже один только час, но такой весенний, такой жадно молодой и сверкающий, что воробьи на улице сходили с ума от радости и точно пьянели люди. И теперь, в верхнее запыленное, с прошлого лета не протиравшееся окно было видно очень странное и красивое небо: на первый взгляд оно казалось молочно-серым, дымчатым, а когда смотреть дольше – в нем начинала проступать синева, оно начинало голубеть все глубже, все ярче, все беспредельнее. И то, что оно не открывалось все сразу, а целомудренно таилось в дымке прозрачных облаков, делало его милым, как девушку, которую любишь; и Сергей Головин глядел в небо, пощипывал бородку, щурил то один, то другой глаз с длинными пушистыми ресницами и что-то усиленно соображал. Один раз он даже быстро зашевелил пальцами и наивно сморщился от какой-то радости, – но взглянул кругом и погас, как искра, на которую наступили ногою. И почти мгновенно сквозь краску щек, почти без перехода в бледность, проступила землистая, мертвенная синева; и пушистый волос, с болью выдираясь из гнезда, сжался, как в тисках, в побелевших на кончике пальцах. Но радость жизни и весны была сильнее – и через несколько минут прежнее, молодое, наивное лицо тянулось к весеннему небу.

Туда же, в небо, смотрела молодая бледная девушка, неизвестная, по прозвищу Муся. Она была моложе Головина, но казалась старше в своей строгости, в черноте своих прямых и гордых глаз. Только очень тонкая, нежная шея да такие же тонкие девичьи руки говорили о ее возрасте, да еще то неуловимое, что есть сама молодость и что звучало так ясно в ее голосе, чистом, гармоничном, настроенном безупречно, как дорогой инструмент, в каждом простом

слове, восклицании, открывающем его музыкальное содержание. Была она очень бледна, но не мертвенной бледностью, а той особенной горячей белизной, когда внутри человека как бы зажжен огромный, сильный огонь, и тело прозрачно светится, как тонкий севрский фарфор. Сидела она почти не шевелясь и только изредка незаметным движением пальцев ощупывала углубленную полоску на среднем пальце правой руки, след какого-то недавно снятого кольца. И на небо она смотрела без ласки и радостных воспоминаний, только потому, что во всей грязной казенной зале этот голубой кусочек неба был самым красивым, чистым и правдивым – ничего не выпытывал у ее глаз.

Сергея Головина судьи жалели, ее же ненавидели.

Также не шевелясь, в несколько чопорной позе, сложив руки между колен, сидел сосед ее, неизвестный, по прозвищу Вернер. Если лицо можно замкнуть, как глухую дверь, то свое лицо неизвестный замкнул, как дверь железную, и замок на ней повесил железный. Смотрел он неподвижно вниз на дощатый грязный пол, и нельзя было понять: спокоен он или волнуется бесконечно, думает о чем-нибудь или слушает, что показывают перед судом сыщики. Роста он был невысокого; черты лица имел тонкие и благородные. Нежный и красивый настолько, что напоминал лунную ночь где-нибудь на юге, на берегу моря, где кипарисы и черные тени от них, он в то же время будил чувство огромной спокойной силы, непреодолимой твердости, холодного и дерзкого мужества. Самая вежливость, с какою давал он короткие и точные ответы, казалась опасною в его устах, в его полупоклоне; и если на всех других арестантский халат казался нелепым шутовством, то на нем его не было видно совсем, – так чуждо было платье человеку. И хотя у других террористов были найдены бомбы и адские машины, а у Вернера только черный револьвер, судьи считали почему-то главным его и обращались к нему с некоторой почтительностью, так же кратко и деловито.

Следующий за ним, Василий Каширин, весь состоял из одного сплошного, невыносимого ужаса смерти и такого же отчаянного желания сдержать этот ужас и не показать его судьям. С самого утра, как только повели их на суд, он начал задыхаться от учащенного биения сердца; на лбу все время капельками выступал пот, так же потны и холодны были руки, и липла к телу, связывая его движения, холодная потная рубаха. Сверхъестественным усилием воли он заставлял пальцы свои не дрожать, голос быть твердым и отчетливым, глаза спокойными. Вокруг себя он ничего не видел, голоса приносились к нему как из тумана, и в этот же туман посылал он свои отчаянные усилия – отвечать твердо, отвечать громко. Но, ответив, он тотчас забывал как и вопрос, так и ответ свой, и снова молчаливо и страшно боролся. И так явственно выступала в нем смерть, что судьи избегали смотреть на него, и трудно было определить его возраст, как у трупа, который уже начал разлагаться. По паспорту же ему было всего двадцать три года. Раз или два Вернер тихо прикасался рукою к его колену, и каждый раз он отвечал одним словом:

– Ничего.

Самое страшное было для него, когда являлось вдруг нестерпимое желание кричать – без слов, животным отчаянным криком. Тогда он тихо прикасался к Вернеру, и тот, не поднимая глаз, отвечал ему тихо:

– Ничего, Вася. Скоро кончится.

И, всех обнимая материнским заботливым оком, изнывала в тревоге пятая террористка, Таня Ковальчук. У нее никогда не было детей, она была еще очень молода и краснощека, как Сергей Головин, но казалась матерью всем этим людям: так заботливы, так бесконечно любовны были ее взгляды, улыбка, страхи. На суд она не обращала никакого внимания, как на нечто совсем постороннее, и только слушала, как отвечают другие: не дрожит ли голос, не боится ли, не дать ли воды.

На Васю она не могла смотреть от тоски и только тихонько ломала свои пухлые пальцы; на Мусю и Вернера смотрела с гордостью и почтением и лицо делала серьезное и сосредоточенное, а Сергею Головину все старалась передать свою улыбку.

«Милый, на небо смотрит. Посмотри, посмотри, голубчик – думала она про Головина. – А Вася? Что же это, боже мой, боже мой... Что же мне с ним делать? Сказать что-нибудь – еще хуже сделаешь: вдруг заплачет?»

И, как тихий пруд на заре, отражающий каждое бегущее облако, отражала она на пухлом, милом, добром лице своем всякое быстрое чувство, всякую мысль тех четверых. О том, что ее также судят и также повесят, она не думала совсем – была глубоко равнодушна. Это у нее на квартире открыли склад бомб и динамита; и, как ни странно, – это она встретила полицию выстрелами и ранила одного сыщика в голову.

Суд кончился часов в восемь, когда уже стемнело. Постепенно гасло перед глазами Муси и Сергея Головина синеющее небо, но не порозовело оно, не улыбнулось тихо, как в летние вечера, а замутилось, посерело, вдруг стало холодным и зимним. Головин вздохнул, потянулся, еще раза два взглянул в окно, но там стояла уже холодная ночная тьма; и, продолжая пощипывать бородку, он начал с детским любопытством разглядывать судей, солдат с ружьями, улыбнулся Тане Ковальчук. Муся же, когда небо погасло, спокойно, не опуская глаз на землю, перевела их в угол, где тихо колыхалась паутинка под незаметным напором духового отопления; и так оставалась до объявления приговора.

После приговора, простившись с защитниками во фраках и избегая их беспомощно растерянных, жалобных и виноватых глаз, обвиненные столкнулись на минуту в дверях и обменялись короткими фразами.

– Ничего, Вася. Кончится скоро все, – сказал Вернер.

– Да я, брат, ничего, – громко, спокойно и даже как будто весело ответил Каширин.

И действительно, лицо его слегка порозовело и уже не казалось лицом разлагающегося трупа.

– Чтобы черт их побрал, ведь повесили-таки, – наивно обругался Головин.

– Так и нужно было ожидать, – ответил Вернер спокойно.

– Завтра будет объявлен приговор в окончательной форме, и нас посадят вместе, – сказала Ковальчук, утешая. – До самой казни вместе будем сидеть.

Муся молчала. Потом решительно двинулась вперед.

3. Меня не надо вешать

За две недели перед тем, как судили террористов, тот же военно-окружной суд, но только в другом составе, судил и приговорил к смертной казни через повешение Ивана Янсона, крестьянина.

Этот Иван Янсон был батраком у зажиточного фермера и ничем особенным не отличался от других таких же работников-бобылей. Родом он был эстонец, из Везенберга, и постепенно, в течение нескольких лет, переходя из одной фермы в другую, придвинулся к самой столице. По-русски он говорил очень плохо, а так как хозяин его был русский, по фамилии Лазарев, и эстонцев поблизости не было, то почти все два года Янсон молчал. По-видимому, и вообще он не был склонен к разговорчивости, и молчал не только с людьми, но и с животными: молча поил лошадь, молча запрягал ее, медленно и лениво двигаясь вокруг нее маленькими, неуверенными шажками, а когда лошадь, недовольная молчанием, начинала капризничать и заигрывать, молча бил ее кнутовищем. Бил он ее жестоко, с холодной и злой настойчивостью, и если это случалось в то время, когда он находился в тяжелом состоянии похмелья, то доходил до неистовства. Тогда до самого дома доносился хлест кнута и испуганный, дробный, полный боли, стук копыт по дощатому полу сарая. За то, что Янсон бьет лошадь, хозяин бил его самого, но исправить не мог, и так и бросил. Раз или два в месяц Янсон напивался, и происходило это обычно в те дни, когда он отвозил хозяина на большую железнодорожную станцию, где был буфет. Ссадив хозяина, он отъезжал на полверсты от станции и там, завязив в снегу в стороне от дороги сани и лошадь, пережидал отхода поезда. Сани стояли боком, почти лежали, лошадь по пузо уходила в сугроб раскоряченными ногами и изредка тянула морду вниз, чтобы лизнуть мягкого пушистого снега, а Янсон полулежал в неудобной позе на санях и как будто дремал. Развязанные наушники его облезлой меховой шапки бессильно свисали вниз, как уши у легавой собаки, и было влажно под маленьким красноватым носиком.

Потом Янсон возвращался на станцию и быстро напивался.

Назад на ферму, все десять верст, он несся вскачь. Избитая, доведенная до ужаса лошаденка скакала всеми четырьмя ногами как угорелая, сани раскатывались, наклонялись, бились о столбы, а Янсон, опустив вожжи и каждую минуту почти вылетая из саней, не то пел, не то выкрикивал что-то по-эстонски отрывистыми, слепыми фразами. А чаще даже и не пел, а молча, крепко стиснув зубы от наплыва неведомой ярости, страданий и восторга, несся вперед и был как слепой: не видел встречных, не окрикивал, не замедлял бешеного хода ни на заворотах, ни на спусках. Как он не задавил кого-нибудь, как сам не разбился насмерть в одну из таких диких поездок – оставалось непонятным.

Его уже давно следовало прогнать, как прогоняли его и с других мест, но он был дешев и другие работники бывали не лучше, и так оставался он два года. Событий в жизни Янсона не было никаких. Однажды он получил письмо по-эстонски, но так как сам был неграмотен, а другие по-эстонски не знали, то так письмо и осталось непрочитанным; и с каким-то диким, изуверским равнодушием, точно не понимая, что письмо несет вести с родины, Янсон бросил его в навоз. Попробовал еще Янсон поухаживать за стряпухой, томясь, видимо, по женщине, но успеха не имел и был грубо отвергнут и осмеян: был он маленького роста, щуплый, лицо имел веснушчатое, дряблое и сонные глазки бутылочного, грязного цвета. И неудачу свою Янсон встретил равнодушно и больше к стряпухе не приставал.

Но, мало говоря, Янсон все время к чему-то прислушивался. Слушал он и унылое снежное поле, с бугорками застывшего навоза, похожего на ряд маленьких, занесенных снегом могил, и синие нежные дали, и телеграфные гудящие столбы, и разговоры людей. Что говорило ему поле и телеграфные столбы, знал только он один, а разговоры людей были тревожны, полны слухами об убийствах, о грабежах, о поджогах. И было слышно однажды ночью, как в соседнем

поселке жидко и беспомощно тренькал на кирке маленький колокол, похожий на колокольчик, и трещало пламя пожара: то какие-то приезжие ограбили богатую ферму, хозяина и жену его убили, а дом подожгли.

И на ихней ферме жили тревожно: не только ночью, но и днем спускали собак, и хозяин ночью клал возле себя ружье. Такое же ружье, но только одноствольное и старое, он хотел дать Янсону, но тот повертел ружье в руках, покачал головою и почему-то отказался. Хозяин не понял причины отказа и обругал Янсона, а причина была в том, что Янсон больше верил в силу своего финского ножа, чем этой старой ржавой штуке.

– Она меня самого убьет, – сказал Янсон, сонно смотря на хозяина стеклянными глазками.

И хозяин в отчаянии махнул рукою:

– Ну и дурак, же ты, Иван. Вот тут и поживи с такими работниками.

И вот этот самый Иван Янсон, не доверявший ружью, в один зимний вечер, когда другого работника услали на станцию, совершил весьма сложное покушение на вооруженный грабеж, на убийство и на изнасилование женщины. Сделал он это как-то удивительно просто: запер стряпуху в кухне, лениво, с видом человека, которому смертельно хочется спать, подошел сзади к хозяину и быстро, раз за разом, ударил его в спину ножом. Хозяин в беспометстве свалился, хозяйка заметалась и завопила, а Янсон, оскалив зубы, размахивая ножом, начал разворачивать сундуки, комоды. Достал деньги, а потом точно впервые увидел хозяйку и неожиданно для себя самого кинулся к ней, чтобы изнасиловать. Но так как нож при этом он упустил, то хозяйка оказалась сильнее и не только не дала себя изнасиловать, а чуть не удушила его. А тут заворочался на полу хозяин, загремела ухватом кухарка, вышибая кухонную дверь, и Янсон убежал в поле. Схватили его через час, когда он, сидя на корточках за углом сарая и зажигая одну за другою тухнувшие спички, совершал покушение на поджог.

Через несколько дней хозяин умер от заражения крови, а Янсона, когда наступил его черед в ряду других грабителей и убийц, судили и приговорили к смертной казни. На суде он был такой же, как всегда: маленький, шуплый, веснушчатый, с стеклянными сонными глазками. Он как будто не совсем понимал значение происходящего и по виду был совершенно равнодушен: моргал белыми ресницами, тупо, без любопытства, оглядывал незнакомую важную залу и ковырял в носу жестким, заскорузлым, негнушимся пальцем. Только те, кто видал его по воскресеньям в кирке, могли бы догадаться, что он несколько принарядился: надел на шею вязаный грязно-красный шарф и кое-где примочил волосы на голове; и там, где волосы были примочены, они темнели и лежали гладко, а на другой стороне торчали светлыми и редкими вихрами – как соломинки на тощей, градом побитой ниве.

Когда был объявлен приговор: к смертной казни через повешение, Янсон вдруг заволновался. Он густо покраснел и начал завязывать и развязывать шарф, точно он душил его. Потом бестолково замахал руками и сказал, обращаясь к тому судье, который не читал приговора, и показывая пальцем на того, который читал:

– Она сказала, что меня надо вешать.

– Какая такая она? – густо, басом, спросил председатель, читавший приговор.

Все улыбнулись, пряча улыбки под усами и в бумагах, а Янсон ткнул указательным пальцем на председателя и сердито, исподлобья, ответил:

– Ты!

– Ну?

Янсон опять обратил глаза к молчащему, сдержанно улыбавшемуся судье, в котором чувствовал друга и человека к приговору совершенно не причастного, и повторил:

– Она сказала, что меня надо вешать. Меня не надо вешать.

– Уведите обвиняемого.

Но Янсон успел еще раз убедительно и веско повторить:

– Меня не надо вешать.

Он так был нелеп с своим маленьким, сердитым лицом, которому напрасно пытался придать важность, с своим протянутым пальцем, что даже конвойный солдат, нарушая правила, сказал ему вполголоса, уводя из зала:

– Ну и дурак же ты, парень.

– Меня не надо вешать, – упрямо повторил Янсон.

– Вздернут за мое почтение, дрыгнуть не успеешь.

– Ну-ну, помалкивай! – сердито окрикнул другой конвойный. Но не утерпел сам и добавил: – Тоже грабитель! За что, дурак, душу человеческую загубил? Вот теперь и повиси.

– Может, помилуют? – сказал первый солдат, которому жалко стало Янсона.

– Как же! Таких миловать... Ну, буде, поговорили.

Но Янсон уже замолчал. И опять его посадили в ту камеру, в которой он уже сидел месяц и к которой успел привыкнуть, как привыкал ко всему: к побоям, к водке, к унылому снежному полю, усеянному круглыми бугорками, как кладбище. И теперь ему даже весело стало, когда он увидел свою кровать, свое окно с решеткой, и ему дали поесть – с утра он ничего не ел. Неприятно было только то, что произошло на суде, но думать об этом он не мог, не умел. И смерти через повешение не представлял совсем.

Хотя Янсон и приговорен был к смертной казни, но таких, как он, было много, и важным преступником его в тюрьме не считали. Поэтому с ним разговаривали без опаски и без уважения, как со всяким другим, кому не предстоит смерть. Точно не считали его смерти за смерть. Надзиратель, узнав о приговоре, сказал ему наставительно:

– Что, брат? Вот и повесили!

– А когда меня будут вешать? – недоверчиво спросил Янсон.

Надзиратель задумался.

– Ну, это, брат, придется тебе погодить. Пока партию не собьют. А то для одного, да еще для такого, и стараться не стоит. Тут нужен подъем.

– Ну, а когда? – настойчиво спрашивал Янсон.

Ему нисколько не было обидно, что одного его даже вешать не стоит, и он этому не поверил, счел за предлог, чтобы отсрочить казнь, а потом и совсем отменить ее. И радостно стало: смутный и страшный момент, о котором нельзя думать, отодвигался куда-то вдаль, становился сказочным и невероятным, как всякая смерть.

– Когда, когда! – рассердился надзиратель, старик тупой и угрюмый. – Это тебе не собаку вешать: отвел за сарай, раз, и готово. А ты так бы и хотел, дурак!

– А я не хочу! – вдруг весело сморщился Янсон. – Это она сказала, что меня надо вешать, а я не хочу!

И, может быть, в первый раз в своей жизни он засмеялся: скрипучим, нелепым, но страшно веселым и радостным смехом. Как будто гусь закричал: га-га-га! Надзиратель с удивлением посмотрел на него, потом нахмурился строго: эта нелепая веселость человека, которого должны казнить, оскорбляла тюрьму и самую казнь и делала их чем-то очень странным. И вдруг на одно мгновение, на самое коротенькое мгновение, старому надзирателю, всю жизнь проведенную в тюрьме, ее правила признававшему как бы за законы природы, показалась и она, и вся жизнь чем-то вроде сумасшедшего дома, причем он, надзиратель, и есть самый главный сумасшедший.

– Тьфу, чтоб тебя! – отплюнулся он. – Чего зубы скалишь, тут тебе не кабак!

– А я не хочу – га-га-га! – смеялся Янсон.

– Сатана! – сказал надзиратель, чувствуя потребность перекреститься.

Менее всего был похож на сатану этот человек с маленьким, дряблым личиком, но было в его гусином гоготанье что-то такое, что уничтожало святость и крепость тюрьмы. Посмейся он еще немного – и вот развалятся гнилостно стены, и упадут размокшие решетки, и надзиратель

сам выведет арестантов за ворота: пожалуйста, господа, гуляйте себе по городу, – а может, кто и в деревню хочет? Сатана!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.